
Асмодей Денница
ПОЛКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ

Асмодей Денница

ПОЛКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ

https://litres.ru/74729279
SelfPub; 2026

Аннотация

В ящике для возврата книг библиотекарь Нина Гущина находит чужой том без штампа. Между страницами — записка, две строки, почти детский почерк: «Дочитайте за меня. Дальше я не смогла». Закладка стоит на двести четырнадцатой странице.

Двести четырнадцать Нина помнит наизусть. На этой странице оборвалась книга, которую она два года читала вслух ослепшей матери. С тех пор Нина не может читать вслух — ни детям, ни взрослым, ни себе.

А библиотеку, в которой она проработала двенадцать лет, закрывают: с января она станет отделом районного культурного центра, ставку сократят, фонд «оптимизируют». Нина не спорит и не борется. Она заводит общую тетрадь в клетку, надписывает её «Книга последнего читателя» и начинает записывать всех, кто ещё приходит: подростка, который читает у окна, потому что дома пьют; старуху, которая ищет книгу своего детства и помнит только запах — клей и яблоки; восьмилетнего мальчика, который

не отдаёт «Букварь», потому что учит читать бабушку после инсульта.

Содержание

Пролог. Дочитайте за меня 5
Глава 1. Бумага 23
Глава 2. Тимур 44
Глава 3. Печь 66
Конец ознакомительного фрагмента. 88

Асмодей Денница
ПОЛКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ОПОЗДАЛ

Пролог. Дочитайте за меня

Ящик для сдачи книг висел снаружи, слева от двери, привинченный двумя шурупами, из которых верхний держался на честном слове, и никто в посёлке не помнил, кто его туда повесил. Нина спрашивала Сан Саныча, но тот только пожимал плечами; спрашивала прежнюю заведующую, когда та ещё приезжала на юбилеи, и та отвечала, что ящик был всегда, «при Марии Семёновне», — а Мария Семёновна умерла в девяносто восьмом. Начальница почты, женщина лет пятидесяти, однажды объяснила Нине, что такие ящики в районе ставили в семидесятых, для писем, и что её предшественница, наверное, была женщина аккуратная.

— А почему у нас книги? — спросила тогда Нина.

— Потому что писем больше нет, — ответила начальница почты и посмотрела на неё так, будто в этом была чья-то вина.

Ящик был жестяной, выкрашенный зелёной краской поверх ржавчины, с прорезью в верхней крышке и с замком,

который сломался задолго до того, как Нина пришла в библиотеку. Прорезь оказалась узкая, и книга в твёрдом переплёте в неё не пролезала, поэтому люди поднимали крышку и клали книги сверху, как кладут под камень; в дождь они мокли, и Нина несколько раз приносила из дома пакет и накрывала ящик, но пакет сдувало ветром, и в конце концов она перестала это делать.

За лето в ящике скапливалось всё сразу: пыль, тополиный пух, шелуха от семечек, потому что кто-то из детей забирался на крыльцо и грыз тут, аптечные чеки. Дважды там лежали деньги — один раз десять рублей, другой раз двести, купюрой, сложенной вчетверо, — и Нина отдала их в кассу, но кассы в библиотеке не было, так что деньги перекочевали в жестянку из-под чая, где лежали ключи, и там и остались.

Однажды в ящике обнаружился носок. Один, серый, мужской, аккуратно сложенный; Нина держала его в руке и думала о том, что для этого нужна какая-то отдельная жизнь, в которой всё устроено иначе, чем у неё. Бывали и записки: «Отдаю в хорошие руки», «Простите», «Книгу брала моя мама, она умерла». Последнюю Нина перечитала несколько раз — не из-за слов, а из-за почерка: крупный, ровный, почти детский, с сильным нажимом. Почерк она запомнила, но тогда ещё не знала, что запомнила.

Один раз в ящике сидел кот.

Это было в августе, три года назад: Нина сняла ящик, почувствовала тяжесть — не такую, как от книг, — и, прежде

чем открыть, зачем-то потрясла его. Изнутри раздалось обиженное «мрау», и она поставила ящик на крыльцо и отошла на два шага. Кот оказался чёрным, с белым пятном на груди, и держался с видом человека, который просто ждал автобус, но автобус не пришёл.

— Ты откуда? — спросила Нина, и кот не ответил.

Она принесла ему молока в блюдце из-под чая; кот выпил и остался жить на крыльце. Через неделю его забрала девочка из соседнего дома, а через месяц принесла обратно — «мама говорит, аллергия», — и Нина сказала «хорошо», и кот снова стал жить на крыльце. Умер он зимой, от старости или от мороза, Нина так и не поняла, и она нашла его утром под крыльцом, и ей было стыдно звонить кому-то и говорить об этом, потому что это был всего лишь кот, который жил на крыльце. Она похоронила его за печкой, во дворе, поставила сверху кирпич и с тех пор, когда её спрашивали, что это за кирпич, отвечала: «Так».

Люди возвращают книги, когда не хотят объясняться, — это было первое, что Нина поняла про свою работу ещё в первый год, и с тех пор ничего не изменилось. Уехали — отдали в ящик, чтобы не идти в библиотеку пешком с сумкой; развелись — разделили полки и принесли то, что оказалось «не моё»; умерли — и тогда приходили дети, уже взрослые, приносили стопку в целлофановом пакете, просили не искать карточку и уходили быстро, не глядя на книги.

Была женщина, которая вернула «Тихий Дон» через один-

надцать лет. Она пришла сама, в сентябре, в плаще и с сумкой, и остановилась у стола так, будто забыла, зачем пришла.

— Здравствуйте. Я вам книги принесла. — Она поставила на стол три тома. — Я их давно взяла.

Нина посмотрела на корешки и спросила, давно ли, и женщина задумалась, потом сказала, что в две тысячи каком-то, потом поправилась: нет, раньше. Она достала из сумки читательский билет — старый, картонный, с фотографией, на которой была молодая женщина без очков, с длинными волосами, — и Нина поискала в картотеке и нашла формуляр с тремя отметками, все чинные и все давние. Долг висел одиннадцать лет и никого не волновал: таких долгов в библиотеке было триста с чем-то, и каждый год их списывали, и каждый год они не списывались.

— Я его всё это время держала у себя наверху, — сказала женщина. — Думала, дочитаю.

— И?

— И не дочитала. Я его с собой в больницу брала. Дважды.

Нина подняла глаза, и женщина улыбнулась — непонятно, то ли виновато, то ли зло.

— Первый раз в третью городскую, второй раз в областную. Я его там держала на тумбочке, и медсёстры говорили: «Вы читаете?» А я говорила: «Читаю». — Она помолчала. — Я не читала. Я его открывала и закрывала. Я по нему смотрела, как далеко я от него ушла, понимаете?

Нина не поняла, но кивнула и спросила, что теперь, и жен-

щина объяснила, что дочка родила, что она переехала к ним, а у них книг нет, и показала рукой в сторону улицы, будто там, в конце, стоял дом без книг: пусть, мол, у вас будет. Нина тогда не нашла, что ответить, и просто продлила формуляр — по правилам нельзя было, но она продлила, — и женщина ушла; книга осталась лежать на столе, и Нина держала ладонь на переплёте, пока тот не остыл. Потом она поставила «Тихий Дон» на полку и через неделю выдала его подростку, который готовился к экзамену и просил «что-нибудь большое, чтобы наверняка хватило».

А бывало и наоборот.

В прошлом году кто-то подбросил в ящик роман, которого в фонде не было и быть не могло: издание с золотым обрезом, дорогое, явно купленное в подарок. Такие книги не читают — такие книги дарят на юбилей людям, у которых всё есть. Нина искала его в каталоге, потом в каталоге района, потом в интернете, сидя после работы, и нашла: тираж небольшой, продавался где-то в области, обложка та самая. Книга была не наша.

Она стояла у Нины в столе полгода, и Нина не знала, что с ней делать: в фонд нельзя, выбросить невозможно, отдать некому. Она даже прочитала первую главу, просто чтобы понять, что это, и глава оказалась скучной, про английского лорда, у которого были проблемы с наследством. А потом пришла девушка лет двадцати, в куртке с наклейками, и сказала:

— У вас книга лежит. Большая, с золотом.

— Лежит.

— Это моя. Я её в ящик положила.

— Зачем?

Девушка пожала плечами.

— Она тяжёлая. Я не хотела домой нести.

Нина отдала ей книгу, и девушка взяла её двумя руками, прижала к груди и ушла, а на крыльце обернулась и сказала «спасибо» так, как говорят людям, которые вернули что-то важное.

Никто ни разу ничего не объяснил. В библиотеке вообще мало объясняют: люди приходят, берут, возвращают, говорят «спасибо» и «до свидания», и Нина за двенадцать лет привыкла к тому, что человек перед ней — это фамилия, номер и книга. Иногда к этому прибавлялась болезнь, иногда беременность, иногда что-то ещё, что видно по лицу, но о чём нельзя спросить. Она и не спрашивала — она выписывала.

Дома у Нины было тихо.

Она вставала в шесть сорок, за полчаса до будильника, и лежала, слушая, как в стене идёт вода — дом был старый, с трубами, которые гудели на весь стояк, — и как за окном первый автобус идёт на райцентр. Квартира была маленькая, две комнаты и кухня, в которой помещался только стол; в большой комнате стоял шкаф с книгами, и книги в нём были не её, а почти все материны, с пометками на полях и с закладками, которые мать не вынимала. Нина их не перестав-

ляла и за шесть лет так и не переставила.

Она пила чай с сушками, стоя у окна, и смотрела, как дворник метёт у магазина. Дворника звали Валера, ему было шестьдесят с чем-то, и он подметал всегда одно и то же место — пятачок перед входом, — уходил и через час возвращался и мел снова.

— У него, наверное, тоже ритуал, — сказала однажды Нина вслух и сама удивилась, что сказала.

Одевалась она долго: кофта, юбка, пальто, шарф. Пальто было серое, старое, хорошее, купленное в райцентре шесть лет назад; шарф — в клетку, из тех, что вяжут и дарят, и Нина его не любила, но носить было надо, потому что было бы жалко, если бы он лежал. Выходила она в восемь и шла пешком — десять минут, если быстро, пятнадцать, если обычно, — и по дороге здоровалась с людьми первой, потому что так было принято и потому что иначе пришлось бы объяснять, почему не поздоровалась.

Восемь утра в Крутояре — это время, когда все уже встали, но никто ещё не начал.

Магазин открывался в восемь, и у двери уже стояли две женщины с сумками; они стояли всегда, даже если магазин был пуст, и говорили про детей, про погоду и про то, что в районе опять что-то закрыли. Почта открывалась в девять, и возле неё было пусто. Школа стояла на Мира, за углом, и оттуда шёл гул — не слова, а именно гул, как из улья, — и он был слышен до самой библиотеки. Автобус уходил в восемь

двадцать, и Нина иногда провожала его взглядом: он выезжал с площади набитый, с людьми в окнах, и у него всегда дымил выхлоп.

Дальше были берёза и двое мужчин с собакой, которые сидели на лавочке, кем-то принесённой и прикрученной к стволу, а собака лежала рядом, положив голову на лапы.

— Нина, здорово. Чё читаешь?

— Ничего. Работаю.

Мужчины смеялись; это был старый разговор, он повторялся каждую неделю и обоим нравился.

Нина шла дальше, мимо палисадника с георгинами, мимо дома Галины Петровны — она узнавала его по занавескам, жёлтым в мелкий цветок, — и мимо дома с синей крышей, где жил мальчик, который потом стал ходить в библиотеку. Что он там живёт, она тогда ещё не знала.

Библиотека стояла на углу Ленина и Почтового, в купеческом доме.

Дом был приземистый, в два этажа, с толстыми стенами и окнами, которые летом мыли только снаружи, потому что изнутри до них не дотянуться даже со стремянки. На первом этаже помещалась библиотека, на втором — что-то ещё: сначала районный архив, потом ничего, потом опять архив, а теперь просто закрыто. Крыльцо было каменное, с двумя ступенями, и зимой их посыпали песком, а летом с них сметали листья.

Библиотеку открыли в этом доме ещё до войны, и с тех

пор она пережила трёх заведующих. Первой была Мария Семёновна, та самая, при которой, судя по всему, и повесили ящик; Нина её не застала, потому что Мария Семёновна умерла в девяносто восьмом, и в библиотеке осталась только её фотография — женщина в тёмном платье, с высокой причёской, сидит за этим же столом, и на столе перед ней чернильница. Второй была Валентина Петровна, приходившая на юбилеи и каждый раз говорившая одно и то же: «При мне тут было три тысячи читателей». Нина не проверяла, но верила: в те годы в посёлке жило вдвое больше людей, в зале стояли стулья в три ряда, и по вечерам было не протолкнуться. Третьей была она.

Нине иногда казалось, что вся её работа состоит в том, чтобы аккуратно закрыть то, что до неё открыли; она не говорила этого вслух, потому что это звучало бы как жалоба, а жаловаться было некому. На втором этаже, в коридоре, где когда-то был архив, а теперь просто закрыто, до сих пор висела жестяная табличка «Отдел комплектования», и Нина иногда поднималась туда, когда искала что-нибудь в старых бумагах, читала эту табличку и думала, что когда-то в этом доме работало столько людей, что им понадобились отделы.

Дверь открывалась тяжело: деревянная, в два слоя, с замком, который надо было поворачивать дважды, а потом ещё нажать на ручку, потому что язычок западал. Нина делала это одной рукой, автоматически — ключ, поворот, поворот, нажать, толкнуть плечом. В зале стоял запах, которого она

уже не различала, но о котором говорили все, кто заходил впервые: книги, пыль и что-то ещё, тёплое, вроде остывшей печки. Печку топили с октября, но Сан Саныч начинал раньше.

Она включала свет, три лампы под потолком, из которых одна мигала, и садилась за стол — большой, письменный, с двумя ящиками: в верхнем лежали квитанции и всякое, что жалко выбросить, в нижнем — то, что нужно каждый день: формуляры, штемпельная подушка, ножницы, клей, коробка скрепок. Ящик для сдачи книг она снимала в половине девятого, до открытия; это был ритуал, и он ей не нравился.

Ей было тридцать семь, и это был её двенадцатый год в библиотеке.

Она пришла сюда после института, в двадцать пять, на полставки, «пока не найду что-нибудь», и осталась. Нашла, наверное, но не то, что искала. Про неё в посёлке говорили разное, но в основном одно: что она не уехала, — и это «не уехала» произносилось по-разному, с уважением, с недоумением, с жалостью, и Нина давно перестала различать интонацию, потому что все три означали примерно одно и то же. Она не уехала, потому что мать не хотела уезжать; потом потому, что мать заболела; потом потому, что было поздно.

Мать умерла, когда Нине было тридцать один, и с тех пор прошло шесть лет, за которые Нина не сделала ни одной попытки что-то изменить: ни переехать, ни сменить работу, ни выйти замуж, — хотя ей предлагали, один раз и вполне се-

рьёзно, человек из района, который привозил книги. Она отказалась и потом долго не могла понять, почему.

Мать читала ей каждый вечер, лет до восьми, пока Нина не научилась читать сама и не начала читать так много, что мать стала говорить: «Ты бы хоть глаза берегла». Читала она хорошо, и Нина помнила не слова, а голос: низкий, ровный, с паузами в тех местах, где по тексту была точка с запятой. Мать останавливалась, чтобы повернуть страницу, и Нина в эти секунды ждала, глядя на её руки. Потом, когда мать ослепла, всё стало наоборот, и это было единственное, что Нина успела ей отдать.

Фонд она знала лучше, чем кто-либо в районе, и могла, не глядя, сказать, где стоит нужный том, — часто раньше, чем читатель успевал объяснить, что ищет. Читатели считали это чудом; Нина считала это признаком того, что больше в её жизни ничего не происходит. Впрочем, бывали и хорошие дни: когда в зале сидело человек десять — школьники за сочинениями, две пенсионерки с журналами, мужчина, который приходил читать газеты и никогда ничего не брал, — или когда кто-то впервые за жизнь записывался в библиотеку, и Нина заполняла формуляр, и спрашивала фамилию, и человек отвечал так торжественно, будто давал присягу. В такие дни ей казалось, что всё на своих местах.

У неё были привычки, о которых она не задумывалась.

Она читала бумаги вслух — всегда, даже счета, даже квитанции за свет, потому что так лучше доходило. Она мыла

чашку с мылом, тщательно, до скрипа, и вытирала насухо, хотя чашка была старая и с трещиной. Она дважды проверяла дверь перед сном и один раз — утром, уже выйдя на улицу, возвращалась и проверяла снова. И она никогда не читала вслух книг: газету могла, список литературы для школы — могла, книгу — нет. Об этом в посёлке не знали; об этом не знала даже Даша.

Ящик поддался не сразу — он всегда поддавался не сразу, — и внутри, под крышкой, лежали две книги.

Первая оказалась детективом в мягкой обложке, ободранным по углам, с пятном на задней стороне, похожим на след от чашки. Нина достала его, и с переплёта посыпалась труха. Детектив был из наших, библиотечный: на форзаце стоял штамп, на кармашке — номер, и карточка тоже была, сложенная втрое, потому что её складывали, чтобы влезла в карман. Нина развернула карточку: фамилия Сизова, имя и отчество неразборчиво, чернила выцвели; дата выдачи — июнь, срок — две недели. Сизова не пришла ни через две недели, ни через месяц, ни через четыре.

Нина знала её: женщина лет сорока, приходила с дочкой, брала по три книги за раз и всегда возвращала в срок. В июне она взяла детектив и ещё две книги, и те две вернула в июле, через ящик, без записки. Нина тогда подумала: уехала. Теперь книга вернулась, значит, не уехала — или уехала и вернулась. Она поставила галочку в формуляре, аккуратно, как ставила всегда, и отложила книгу в тележку.

Вторая книга была другая.

Она была тонкая, в коленкоровом переплёте, без суперобложки; на корешке когда-то стояло название, но золото стёрлось, и остались две буквы — «ий» и завиток, который мог быть чем угодно: буквой «т», буквой «г», просто царапиной. Нина открыла её на форзаце, и форзац оказался чистый. Она полистала: страницы были плотные, желтоватые, с обрезом, который когда-то красили, а теперь он обсыпался по краю. Ни штампа, ни кармашка, ни карточки, ни номера — книга была не наша, не библиотечная, чужая, из дома.

Нина поднесла её к лампе. Бумага была старая, но не ветхая: такая не рассыпается, а держится, потому что её редко открывали; блок держался крепко, и кто-то когда-то проклеивал корешок — аккуратно, полоской марли, и марля потемнела от времени. Она понюхала: пахло пылью, клеем и чем-то ещё, слабым, вроде ванилина. Нина знала этот запах: так пахнут книги, которые долго лежали в шкафу с закрытыми дверцами, рядом с чем-то съестным, и впитали в себя чужой дом.

На титуле стояло название, но его почти съело время: читались только два слова из четырёх, и оба были обыкновенные. Ниже, карандашом, стёртым почти до белого, было что-то написано от руки; Нина поднесла книгу к окну и наклонила: «...ой маме от...». Дальше — неразборчиво. Она закрыла книгу и положила её на стол.

Потом полистала ещё раз, уже медленнее, и между стра-

ницами что-то скользнуло к переплёту.

Закладка была вырезана из обложки другой книги: узкая полоска, с одной стороны синяя, с краешком того синего, которым в шестидесятых печатали учебники. Кто-то взял ножницы и отрезал уголок от старой обложки, потому что закладок в доме не водилось, а читать надо было сейчас. Нина такие видела: их делали из всего — из трамвайных билетов, из рецептов, из фотографий, из обёртки от чая; однажды она нашла в книге двадцатирублёвую купюру, и это было в те годы, когда двадцать рублей ещё что-то значили.

Под закладкой, сложенная вчетверо, лежала бумажка — листок в клетку, вырванный из общей тетради, с неровным краем, тот край, который остаётся, когда вырываешь лист из середины, не отрывая до конца. Почерк был крупный, ровный, почти детский, шариковой ручкой, с нажимом; так пишут люди, которых учили писать в прописях и которые с тех пор не изменили ни одной буквы. В две строки:

Дочитайте за меня.

Дальше я не смогла.

Нина перевернула листок. С обратной стороны ничего не было — только вмятина от ручки, повторявшая буквы наоборот, как в зеркале; она посмотрела на свет, и буквы читались, если держать листок перед лампой и знать, что там написано. Потом она посмотрела на закладку.

Закладка стояла на двести четырнадцатой.

Двести четырнадцать.

Нина знала эту цифру так, как знают номер чужого телефона, который никогда не собираешься набирать. Она села, и стул под ней скрипнул — он всегда скрипел, если сесть резко, — и звук был такой громкий, что она вздрогнула.

В зале было тихо. Мигала лампа под потолком, раз, другой, и в паузах между вспышками слышно было, как на улице кто-то идёт мимо окна и как под его шагами хрустит гравий. Нина положила записку на стол, рядом с книгой, и убрала руки на колени.

Она не думала о том, кто это написал. Она думала о том, что за двенадцать лет никто ни разу не попросил её дочитать.

Потом она всё-таки начала думать.

Первым делом — Галина Петровна: она ходила по вторникам, брала детективы и однажды, в конце сентября, спросила книгу, которую помнила только на ощупь. Но до сентября было ещё далеко, а почерк был не её: Галина Петровна писала мелко, с наклоном и всегда одной и той же ручкой, которую носила в авоське. Потом — Сан Саныч: он мог, он был из тех людей, которые делают что-то и не говорят, но он не стал бы писать записку, он бы сказал вслух. Потом — Даша, которая таких книг не читала и вообще не читала книг, а снимала их. Потом — женщина из очереди, мужчина с «Онегиным», девочки, бравшие про котиков, дворник Валера, оба мужчины с собакой.

Нина перебрала всех, кого знала в посёлке, — а знала она в посёлке всех, — и не нашла никого. Тогда она перебрала

тех, кого не знала, и подумала, что книга могла приехать: что кто-то привёз её из другого города, положил в ящик и уехал на автобусе в восемь двадцать, и теперь этот кто-то сидит где-нибудь в райцентре и думает, дочитали ли. Мысль была неприятная, но не невозможная.

Нина посмотрела в окно. Автобус в восемь двадцать уже ушёл; если человек приезжал, он приехал первым, положил книгу и уехал вторым, и между этими двумя событиями прошло, может быть, двадцать минут — ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти от остановки до крыльца и обратно. В этих двадцати минутах было что-то очень аккуратное и очень одинокое. Потом она подумала, что придумывает.

Книгу она всё равно открыла — не на двести четырнадцатой, а раньше, на первой странице, чтобы посмотреть, что это вообще.

Это была проза. Старая, спокойная, с длинными абзацами и без всякой спешки. Нина прочитала первый абзац глазами и остановилась, потому что поняла, что читает, — а она не читала книг уже шесть лет. Точнее, читала: она читала много, каталоги, аннотации, отзывы, письма читателей, инструкции к лекарствам, посты в интернете, новости, — она читала всё, кроме книг. Книги она держала в руках, переставляла, протирала, рекомендовала, знала, кто что берёт, и могла, не глядя, сказать, где на полке стоит нужный том, — но не читала.

Нина закрыла книгу так, как закрывают дверь: аккуратно,

без стука, и потом ещё подержала ладонь на переплёте. Коленкор был тёплый, и не от неё, а от чего-то другого — от утра, от дороги, от чьих-то рук, которые держали его недавно и долго. За окном проехал грузовик, и стёкла в шкафах отозвались тонким дребезгом.

Записку она прочитала ещё раз, одними губами.

Слова встали в голове чужим голосом — тихим, будто говорили с той стороны печки, из комнаты, где никого нет. Нина знала этот голос; она не слышала его шесть лет. Она положила записку в книгу, на то же место, между страницами, и закрыла.

Потом сделала то, что делала со всем, чего не понимала: открыла верхний ящик стола, отодвинула прошлогодние квитанции, положила книгу туда и задвинула ящик. Сверху легли квитанции, и она подумала, что надо бы их выбросить, и не выбросила. В ящике лежало много всего: квитанции за свет за три года, инструкция от штемпельной подушки, две сухие ручки, половина ластика, чей-то читательский билет, погашенный и перечёркнутый; Нина знала, что там всё это лежит, и всё равно не выбрасывала — не из сентиментальности, а потому что выбрасывать было отдельным действием, которое всегда можно отложить. Теперь среди этого лежала книга.

Ключ от стола лежал в жестянке из-под чая, вместе с тремя другими, которые ни к чему не подходили; Нина достала самый маленький, повернула и подёргала ручку — прове-

рять она умела только так, руками.

В дверь постучали.

Восемь сорок. Кто-то пришёл раньше девяти, и это уже было событие: в Крутояре в библиотеку раньше девяти не приходили никогда, потому что все знали, что раньше девяти она закрыта. Стучали два раза, костяшкой, коротко и знакомо.

Нина встала, поправила кофту — привычка, оставшаяся от матери, которая всегда говорила «не выходи к людям как попало», — и пошла к двери, и это было четыре шага через читальный зал: мимо стеллажа с краеведением, где на второй полке стоял Рассадкин, единственный экземпляр, мимо стола с журналами, на котором лежала вчерашняя газета, сложенная пополам, мимо печки, холодной, с открытой дверцей.

Она шла и думала о том, что за двенадцать лет никто ни разу не попросил её дочитать — ни один человек, ни в очереди, ни по телефону, ни в ящике для книг.

И о том, что она всё-таки знает эту страницу.

Глава 1. Бумага

Стучал Сан Саныч — два раза, костяшкой, потому что ладонью у него не получалось: правая рука плохо слушалась с зимы. Нина открыла, и истопник предстал на крыльце в куртке поверх свитера, держа ведро с углём.

— Здорово, Нина Аркадьевна.

— Здравствуйте. Печку-то зачем? На улице тепло.

— По календарю положено, — сказал он и занёс ведро. — В прошлом годе в это же время топили.

— В прошлом году в это же время шёл снег.

— Ну вот. А нынче не идёт. Считай, повезло.

Он прошёл через читальный зал, мимо стеллажа с краеведением, к печке в углу, и принялся выгребать золу. Печка была большая, кирпичная, сложенная, наверное, ещё при Марии Семёновне, и топилась она не столько для тепла, сколько для запаха. Нина однажды посчитала: если бы печь убрали, в зале стало бы холоднее градуса на два, потому что стены держали сами; но печь оставляли, потому что она была частью дома, а дом был частью посёлка, и никто не мог представить библиотеку без печки. Сан Саныч выгребал золу в таз, ссыпал её в ведро и выносил на улицу, в специальную яму за углом, которую сам же и выкопал.

— А в ящике что? — спросил он из своего угла.

— Две книги. Одну вернули, другую подкинули.

— Подкинули?

— Без штампа. Чужая.

Он помолчал, потом сказал, что это, значит, совесть: раньше, мол, воровали, а теперь воротят. Нина возразила, что и раньше воротили, и он не согласился: раньше, если взял, то взял. Спорить она не стала, потому что давно заметила: о людях Сан Саныч говорит хуже, чем о них думает, и это у него такая форма нежности.

Он выгребал золу и рассуждал, и это было единственное, что в библиотеке случалось регулярно и независимо от расписания; Нина не мешала — достала формуляры и стала разбирать вчерашнее: три выдачи, два возврата, у одной книги порван форзац.

— Ты бы сказала ей, чтобы приходила, — сказал Сан Саныч. — Которая вернула.

— Кому?

— Ну этой, с детективом. Ты же знаешь, кто это.

— Знаю. И ничего. Она не придёт.

— Почему?

Нина посмотрела на карточку, которую держала в руке.

— Потому что она четыре месяца не приходила. Люди, которые четыре месяца не приходят, обычно не приходят уже никогда.

— Это как посмотреть, — сказал Сан Саныч. — Я вот в школу тридцать четыре года ходил. А теперь не хожу.

— Это другое.

— Это то же самое.

Он поставил ведро и сел на табурет, и Нина поняла, что разговор будет длинный.

— Я тебе скажу, — начал он. — Когда школу закрывали, нам сказали: дети будут ездить в райцентр, два раза в день автобус. Мы посчитали: сорок минут туда, сорок обратно, и это если дорога хорошая.

— И?

— И поехали. Первый год ездили. — Он смотрел на печку. — А потом перестали.

— Почему?

— Потому что в шесть утра вставать никто не хочет. Особенно зимой. Особенно если тебе пятнадцать и у тебя телефон.

Нина промолчала.

— Я не в том смысле, что телефон плохой, — сказал Сан Саныч. — Я в том смысле, что человек идёт туда, куда близко. Всегда. Это не лень, это как его… — Он запнулся. — Это как называется, когда по-научному?

— Не знаю.

— Ну и я не знаю. Но это так.

Он подложил полено.

— Вот тут библиотека и держалась. Что близко. Дверь, крыльцо, тётя Нина за столом. А теперь что? Точка выдачи в ДК. Тоже близко, в общем-то.

— Близко.

— Но это уже не дом.

Нина посмотрела на него.

— Вы, Сан Саныч, философ.

— Я истопник, — сказал он. — Но с образованием.

Он засмеялся сам над собой и пошёл за следующей охапкой.

Вернувшись, он ссыпал золу в ведро, вытер руки о штанину и сказал, ни к кому не обращаясь, что дрова отсырели и что он говорил завхозу, что надо под навес; Нина подтвердила, что говорил, и он повторил «говорил» ещё раз, будто это что-то доказывало. Потом ушёл и через десять минут вернулся с охапкой щепы, печь затрещала, и по залу пошёл тот самый запах — берёзовый, сладковатый, — который Нина потом находила на пальто уже к вечеру.

В девять пришла Тамара Ивановна.

Она приходила по средам, с сумкой на колёсах, всегда спрашивала что-нибудь про огород и всегда с порога объясняла, зачем пришла.

— Я вам опять про помидоры, — говорила она. — Я понимаю, что у вас это не справочная, но я вам скажу так: в интернете одно, а в книге другое.

— Про помидоры всё выдали, — сказала Нина. — В прошлый вторник последнее взяли.

Тамара Ивановна поставила сумку и села на стул у стола для разговоров, и это означало, что она будет сидеть долго.

— И что мне делать?

— Есть про огурцы.

— А про огурцы зачем?

— Не знаю. Есть.

Тамара Ивановна подумала.

— А там про теплицы есть?

— Там про всё есть. Там общая книга: огурцы, кабачки, патиссоны.

— Патиссоны мне не нужны.

— Патиссоны можно не читать.

Тамара Ивановна подумала ещё и взяла про огурцы. Нина записала её в формуляр, поставила штамп — аккуратно, чтобы не задеть номер, — и Тамара Ивановна ушла, увозя сумку с книгой про огурцы, довольная, потому что пришла за одним, а получила другое и не заметила подмены. Такое случалось часто: люди приходили за конкретным и уходили с тем, что было, и почти никогда не возвращались с претензией. Нина давно поняла, что им нужен был не помидор, а разговор о помидоре — десять минут, в которые их слушают и с ними соглашаются.

После Тамары Ивановны пришёл мужчина в кепке и спросил «Онегина».

— Есть, — сказала Нина. — Какое издание?

— Обычное.

Она принесла ему два: одно старое, в твёрдом переплёте, с портретом на форзаце, другое — тонкое, школьное, с примечаниями. Мужчина взял оба, полистал, поставил обратно.

— Я, наверное, потом. Я просто посмотреть.

— Посмотрели.

Он ушёл, и Нина знала, что он придёт ещё, и через неделю, и через две, и будет спрашивать то же самое, и ни разу не возьмёт, потому что ему нужно было не прочитать, а убедиться, что это всё ещё здесь. Таких было человек пять, и она любила их больше остальных.

В четверть двенадцатого пришла молодая женщина с мальчиком лет девяти. Мальчик был в куртке, из которой вырос, держал в руке телефон, и телефон был важнее всего, что происходило вокруг.

— Здравствуйте, — сказала женщина. — Нам бы что-нибудь. Он не читает.

— Совсем?

— Совсем. Учительница говорит: надо. — Она посмотрела на сына. — Скажи.

Мальчик пожал плечами, и Нина обошла стол и присела, чтобы быть с ним на одном уровне.

— Как тебя зовут?

— Артём.

— Артём, а что ты любишь?

Он подумал.

— Телефон.

— Это я поняла. А кроме телефона?

Он снова подумал, и Нина не торопила.

— Динозавров.

Книг про динозавров было три: одна толстая, энциклопедическая, с мелкими буквами; вторая тонкая, с картинками; третья старая, с чёрно-белыми иллюстрациями, из тех, что печатали в восьмидесятых. Нина принесла все три и положила перед ним.

— Вот. Выбирай.

Артём посмотрел на книги так, как смотрят на овощи.

— Мам.

— Выбирай, — сказала Нина. — Тебе читать.

Он взял тонкую, полистал, вернул; тогда она пододвинула старую, и он сказал, что она страшная, а Нина ответила, что она честная. Он открыл её и задержался на развороте с ящером, длинным, как автобус.

— Вот эту, — сказала Нина. — И ещё вот эту, энциклопедию. Две.

— Он не дочитает.

— И не надо. Пусть посмотрит картинки и вернёт.

Женщина посмотрела на неё с сомнением и спросила, разве так можно, и Нина ответила, что так нужно: если заставлять дочитывать, он не прочитает ничего, а если разрешить бросить, он, может, вернётся. Она записала Артёма в формуляр, и мальчик ушёл, прижимая к груди книгу с длинным ящером. Через две недели он вернул обе и взял ещё две, а через месяц записался сам — пришёл без матери, с рюкзаком, и сказал: «Здравствуйте, я Артём, я у вас был». Нина сделала вид, что не помнит, хотя помнила. Такое случалось

редко, но случалось.

Так прошло утро.

В половине двенадцатого зазвонил телефон на столе, и это был не телефонный звонок, а звонок в дверь, только телефонный: Нина сняла трубку, и голос Ольги Валерьевны сказал, что она зайдёт «на пять минут» и что разговор есть.

— Когда? — спросила Нина.

— После обеда. Часа в два. Вам удобно?

— У меня всегда удобно.

— Вот и хорошо, — сказала Ольга Валерьевна и положила трубку.

Нина посидела немного с трубкой в руке, потом положила её на рычаг. Разговор был не «есть», разговор был назначен, и она знала это по интонации: люди, у которых есть разговор, говорят «зайду, если можно», а люди, у которых есть бумага, говорят «вам удобно?». Она вернулась к формулярам, но работа не шла, и она поймала себя на том, что смотрит в окно, на берёзу, и считает, сколько раз качнулась ветка.

Ольга Валерьевна пришла в час.

Она была в пальто, с папкой, и папка была тонкая; тонкая папка значила, что бумага в ней одна.

— Нина Аркадьевна, — сказала она с порога, — вы только не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь.

— Вот и хорошо. Я тоже не волнуюсь.

Она села на стул для читателей, потому что другого не бы-

ло, и положила папку на колени, и это тоже было плохим знаком: люди с хорошими новостями папку на колени не кладут. Ольге Валерьевне было сорок четыре, и она работала в районном культурном центре шестой год; до этого она работала в школе, потом в администрации, потом снова в школе, и Нина знала её ещё по институту — они учились на одном курсе, только Ольга Валерьевна на библиотечном, а Нина на филологическом, и потом их пути разошлись так, как расходятся пути людей, которые сидели рядом на лекциях и не разговаривали.

— Вы у нас одна, — сказала Ольга Валерьевна.

— В смысле?

— В районе. Библиотекарей. — Она поправилась: — На ставке.

— Есть ещё две.

— На полставки.

— На полставки.

Ольга Валерьевна кивнула, как будто это подтверждало что-то в бумаге.

Бумага оказалась на двух листах, с уголком и номером, и Нина прочитала её дважды — второй раз вслух, потому что бумаги она всегда читала вслух и так лучше доходило. Голос вышел чужой и тихий, как из-за печки.

— «С первого января библиотека становится структурным подразделением районного культурного центра, — прочитала она. — Ставка заведующего отделом библиотечного

обслуживания сокращается». Дальше нечитаемо. Тут написано «оптимизировать», но это не буква, а клякса.

— Это печать, — сказала Ольга Валерьевна. — Там «оптимизировать книжный фонд». Списать то, что не выдавалось пять лет и больше.

— Я поняла, — повторила Нина.

Она положила лист на стол и разгладила его ладонью — привычка, которая осталась от работы с бумагами: если разгладить, кажется, что всё ещё можно поправить.

— А ставка?

— Ставка сокращается. Совсем. — Ольга Валерьевна смотрела не на неё, а чуть выше, на портрет Пушкина, который висел криво с тех пор, как его в прошлом году задели шваброй. — Библиотека остаётся. Как отдел. Точка выдачи. Фонд передают.

— Куда передают?

— В район. Сказали, что в район.

— В какой район?

— В районный. — Ольга Валерьевна наконец посмотрела на неё. — Нина Аркадьевна, я вам не враг.

— Я знаю.

— Я вам предлагаю методиста. Полная ставка. Кабинет на втором этаже, окно во двор. Никаких вам этих — печек.

— Печку топит Сан Саныч.

— Сан Саныч на полставки.

— Он топит хорошо.

Ольга Валерьевна вздохнула и посмотрела на папку, как будто там было ещё что-то, чего она не достала.

— Я вам скажу честно, — сказала она. — Я эту бумагу читала неделю. Я ходила к ним три раза. Я просила оставить хотя бы ставку. И мне сказали, что я могу радоваться, что оставили библиотеку.

Нина молчала.

— Вы понимаете, что у нас в районе закрыли четыре? — сказала Ольга Валерьевна. — Четыре библиотеки: в Заречье, в Кузьмичах, в Погорелке и в Лаптеве. В Кузьмичах до последнего работала женщина, ей семьдесят два года, она там сорок лет.

— Я знаю.

— И что?

— И ничего. Я знаю.

Ольга Валерьевна вдруг усмехнулась.

— Я сюда в детстве ходила, — сказала она. — Вы знали? В третьем классе. У нас была такая Валентина Петровна, она на нас кричала.

— На всех кричала.

— На всех. Но книги давала. — Ольга Валерьевна посмотрела на стеллажи. — Я тогда «Трёх мушкетёров» взяла и не вернула, и боялась полгода, думала, придёт ей письмо.

— Пришло?

— Пришло. Мама узнала и заставила идти, я шла и плакала. — Она помолчала. — А Валентина Петровна сказала:

«Наконец-то. Я думала, ты насовсем».

Нина молчала.

— Я потом ещё тридцать лет книги покупала, — сказала Ольга Валерьевна. — До сих пор покупаю. У меня дома две тысячи.

— У меня тоже.

— Значит, вы понимаете.

— Что я понимаю?

Ольга Валерьевна посмотрела на неё, и в этом взгляде было что-то такое, чего Нина не ожидала: не жалость и не превосходство, а растерянность.

— Что я вам не враг, — сказала она тихо. — И что бумага не от меня. — Она помолчала. — Вы думаете, я на ваше место залезу?

— Я ничего не думаю.

— Думаете. — Ольга Валерьевна покачала головой. — Если бы я хотела на ваше место, я бы пришла не с методистом, а с человеком из района.

Нина посмотрела на неё.

— А вы пришли с методистом.

— А я пришла с методистом.

Она вздохнула и достала из папки вторую бумагу — сложенную вчетверо, без уголка.

— Здесь расчёт. Если вы пойдёте методистом, у вас будет оклад чуть выше, чем сейчас, и отпуск не сорок дней, а тридцать шесть.

Нина взяла бумагу, но не развернула.

— Я подумаю.

— Подумайте. Только до нового года. — Ольга Валерьевна помолчала. — До января три месяца. Я приду в декабре, может, что-нибудь поменяется.

— Что может поменяться?

— Ничего, — честно сказала Ольга Валерьевна. — Но я приду.

Она встала, застегнула пальто и у двери обернулась.

— Вы только фонд не запускайте. Вам ещё акт подписывать.

— Я не запускаю.

— Знаю. Я на всякий случай.

Она вышла, и в зале стало тихо так, как бывает только после человека, который сидел и не двигался.

Сан Саныч вышел из-за стеллажа, где он всё это время стоял с совком, и спросил, методист — это который бумажки пишет; Нина подтвердила, что который бумажки пишет, и он сказал, что книги оно надёжнее, и поставил совок к печке. Потом помолчал и добавил, что Ольга-то хорошая: слушает, и всё равно всё сделает по-своему.

— Все так делают, — сказал он. — Это не от злости. Это от того, что у них тоже есть начальники.

Он пошёл к печи, потом остановился.

— Ты матери моей не говори.

— Чего не говорить?

— Что библиотеку закрывают. Она сюда ходила. В семьдесят каком-то.

Нина обернулась.

— Ваша мать жива?

— В райцентре живёт. Ей девяносто один. Она мне каждый раз говорит: «Ты в библиотеке-то был? Книжку сдал?» — Он усмехнулся. — А я ей говорю: я там работаю.

В два пришла Даша — на свою смену, с рюкзаком и с телефоном, который она держала так, будто он был продолжением руки.

— Здрасьте. Чай есть?

— Есть.

Даша налила воды, села на стул и стала листать что-то в телефоне, и в зале стало слышно, как она дышит. Ей было двадцать шесть, она пришла сюда два года назад, после колледжа, и с первого дня говорила, что уедет.

— Нина Аркадьевна, а правда, что нас закрывают?

— Правда.

— Совсем?

— Совсем.

Даша отложила телефон.

— А мы? Ну, работа. Нам что?

— Мне предложили методистом.

— А мне?

Нина посмотрела на неё.

— А тебе не говорили?

— Мне нет. — Даша помолчала. — Мне, наверное, скажут в декабре. Как всегда.

Она встала, прошла по залу, поправила книги на выставке — она сама её делала, из цветной бумаги и распечатанных обложек, — и вернулась.

— Я в Екатеринбург хочу, — сказала она. — Там сестра. Там работы много.

— Хорошо.

— Вы так говорите, как будто не верите.

— Я верю.

— Вы говорите «хорошо», как будто ставите галочку.

Нина посмотрела на неё внимательно.

— Даша, а что ты хочешь, чтобы я сказала?

— Не знаю. Что-нибудь.

— Хорошо, — сказала Нина. — Тогда так: там будет тяжелее, чем ты думаешь. Но ты справишься.

Даша засмеялась.

— Вот это уже похоже на правду.

Она ушла в читальный зал, включила кольцевую лампу и поставила телефон на штатив.

— Что ты снимаешь?

— Ничего. Пробую свет.

Нина не стала спрашивать дальше, потому что знала: если спросить, Даша расскажет, и рассказ будет длинный, и в нём будет много слов, которых Нина не понимала, — охваты, удержание, вовлечённость. Она подумала, что Даша делает с

посёлком то, чего не умеет она сама: показывает его другим, и что, может быть, это тоже работа.

После обеда пришёл мальчик.

Он приходил уже третью неделю, и Нина знала про него ровно столько, сколько было в его лице: лет шестнадцать, куртка не по размеру, кроссовки всегда мокрые, даже когда сухо. Он сел у окна, достал свою книгу и раскрыл её на сороковой странице.

Но об этом — после.

До шести она успела ещё многое.

Разобрала формуляры за август и переписала в тетрадь учёта три позиции, которых там не было; позвонила в район и спросила, будут ли в этом году деньги на подписку, и ей ответили, что будут, но позже, а потом спросили, правда ли, что библиотеку сокращают, и она сказала, что правда, и на том конце помолчали и сказали «ну, держитесь». Потом пришли две девочки за книжками про котиков и долго выбирали между двумя одинаковыми обложками. Потом старик с палкой спросил, нет ли газет за прошлый месяц, и Нина достала ему подшивку, и он читал её два часа, шевеля губами. Потом была тишина, и в тишине особенно хорошо было слышно, как в печке оседают дрова.

Нина села за стол и достала из нижнего ящика папку, в которой лежали акты прошлых лет. Она начала листать их ещё в сентябре — хотела понять, что придётся списывать, — и с тех пор продвинулась страниц на двадцать. Ей предстоя-

ло решить, какие книги станут первыми, и она знала, что это будут не самые старые и не самые плохие: первыми всегда уходят те, что берут редко, но не никогда, — те, у которых нет читателей, но есть читатель, одна бабушка, один школьник, один мужчина, который приходит раз в год. Списать такую книгу — значит сказать этому одному человеку, что его тоже как бы не было.

Нина закрыла папку и пошла вдоль стеллажей, трогая корешки — привычка, от которой её давно отучили на курсах: книги надо беречь, руками не лапать; она всё равно трогала. Вот «Два капитана», то же издание, что у мальчика; вот «Тимур и его команда» с вырванным титулом, потому что кто-то вырезал портрет; вот справочник по радиоэлектронике, который в этом году брали два раза; вот Тургенев, которого брали три.

Она остановилась у полки с краеведением. Рассадкин, «Крутояр в годы войны», единственный экземпляр, серый переплёт, надпись на корешке почти стёрлась; его брали двадцать два раза за двенадцать лет, и каждый раз это были люди, которые приходили с папками, с вопросами, с фотографиями, и говорили: «А вот тут написано, что…» Нина знала эту книгу почти наизусть: на сто семнадцатой странице была опечатка в фамилии, а на двести первой — вклейка с картой, которая не совпадала с текстом. Она подумала, что если его спишут, никто не заметит, кроме тех двадцати двух.

Она вернулась к столу и записала в папку: «Рассадкин —

не списывать». Потом посмотрела на эту запись и поняла, что она ничего не значит: в акте решает не она.

Она достала чистый лист и стала считать. Сколько книг не выдавалось пять лет и больше, она примерно знала: тысячи три, из них детских около шестисот, краеведения почти ничего, потому что краеведение брали, классики много, потому что классику берут по программе, а программа меняется. Она считала и понимала, что цифра не имеет отношения к людям: можно составить список из четырёх тысяч названий, и в нём не будет ни одной книги, которая кому-то нужна, и в то же время будет книга, которую ждут. Она отложила лист, потом взяла его снова и написала сверху: «Исключения», — и подумала, что за двенадцать лет это, кажется, первая бумага, которую она пишет не для отчёта.

Вечером, когда все ушли и Сан Саныч закрыл печную дверцу, Нина осталась одна и ещё раз прочитала бумагу. Она прочитала её не вслух, а глазами, и ничего нового не узнала. За окном шёл дождь — мелкий, тот, который не идёт, а висит.

Она достала из ящика стола общую тетрадь в клетку. Тетрадь была куплена в мае, в магазине на углу, для записей о фонде, и с тех пор в ней не было ни строчки, потому что фонд она знала наизусть и записывать его было не нужно. Нина открыла первую страницу, подумала и написала сверху, крупно, как пишут на конвертах: «Книга последнего читателя». Потом посмотрела на это и усмехнулась — не пото-

му, что вышло смешно, а потому, что вышло слишком точно. Она подумала, что надо бы написать «книга учёта», как положено, сухо, с датой и номером, и не стала.

Ниже она написала:

Двенадцатое сентября.

Неизвестный. Книга без названия. Двести четырнадцатая страница. Не дочитана.

Она не стала писать «неизвестная», потому что решила: раз книгу вернули в ящик, значит, кто-то её знает, и «неизвестный» — это пока. Потом подумала и приписала ещё строчку, про Тамару Ивановну и огурцы, потом про мужчину с «Онегиным», потом про Сан Саныча и его мать. Она писала и чувствовала, что делает что-то не то — не по инструкции, не по форме, — и что именно поэтому будет делать это каждый день. В тетради было сорок восемь листов; хватило бы на год, если писать по одной записи.

Нина заперла тетрадь в стол, к книге, повернула ключ, подёргала ручку и пошла ставить чайник. В жестянке из-под чая лежали ключи; в зале было темно; батарея щёлкнула два раза и замолчала. Она пила чай стоя, у окна, и смотрела, как на улице под фонарём стоит машина, и в машине кто-то сидит и не выходит.

Потом оделась и пошла домой. Было темно и мокро, фонари горели через один, и от этого улица казалась длиннее, чем была. Она прошла мимо магазина, где уже погасили витрину, мимо почты, мимо палисадника с георгинами, которые

к сентябрю почернели по краям. У дома с синей крышей горело окно на втором этаже, и в нём кто-то ходил — туда-сюда, туда-сюда, — и Нина остановилась на секунду, потому что ей показалось, что она знает эту походку. Потом пошла дальше.

Дома она разулась, повесила пальто, включила свет на кухне и села. Шкаф с материными книгами стоял в большой комнате, дверцы у него были стеклянные, и в стекле отражалась кухонная лампа. Нина не подошла к шкафу: сидела на кухне, пила чай и слушала, как в стене идёт вода.

Потом всё-таки подошла.

Материны книги стояли в том порядке, в каком их расставила мать: проза наверху, стихи внизу, справочники с краю; на корешках были наклейки, которые мать клеила сама, чтобы «найти за секунду». Нина провела пальцем по корешкам и остановилась: одна книга стояла не на месте — чуть выдвинута, на палец. Мать так делала, когда собиралась вернуться к чтению. Нина знала, что книга эта стоит так уже шесть лет. Она не поправила её.

Потом подумала про ту, другую книгу — которая лежала в ящике стола на работе, под квитанциями, с закладкой на двести четырнадцатой. А вдруг это она? Вдруг мать кому-то её отдала — соседке, в больницу, в церковь, — и человек прочитал двести тринадцать страниц и не смог. Мысль была глупая: мать не отдавала книг, мать вообще ничего не отдавала в последние два года.

Нина налила ещё чаю и села напротив шкафа. Она сидела так минут двадцать, пока чай не остыл, и смотрела на выдвинутый корешок, и в какой-то момент ей показалось, что если она сейчас встанет и достанет эту книгу, всё решится. Она не встала.

Она вымыла чашку с мылом, вытерла насухо, поставила в шкафчик, проверила дверь дважды и легла.

Поздний вечер. Запись в тетради.

Тимур. Один раз — «Два капитана». Формуляр не заведён. Сидел до закрытия. Сказал: «У вас тут тепло».

Глава 2. Тимур

Он появился в конце августа, когда библиотека ещё работала до семи и в зале пахло не холодом, а пылью и нагретым деревом.

Нина заметила его не сразу. Он вошёл, ничего не спросил, прошёл вдоль стеллажей и остановился у окна, у самого дальнего, где стоял стол с журналами и два стула; сел, достал из рюкзака книгу.

— Вы записаны? — спросила Нина через зал.

Он поднял голову.

— Нет.

— Тогда подойдите.

Он подошёл и положил на стол книгу — не библиотечную, свою: толстый том в твёрдой обложке, с потёртым корешком, домашний, из тех, что стоят у людей в шкафах двадцать лет и передаются дальше вместе с квартирой.

— Я не буду брать, — сказал он. — Я тут посижу.

Нина посмотрела на него. Сказать «нельзя» было можно: правила существовали, и в правилах было написано, что читальный зал — для читателей, а читатель — это тот, у кого есть билет.

— До шести, — сказала она. — В шесть я закрываю.

— До шести, — согласился он и вернулся на место.

Она тогда подумала, что он придёт ещё раз-другой и пере-

станет: так бывало, подростки приходили, садились, сидели над телефоном, потом им становилось скучно, и они уходили, и больше их не видели. Он пришёл на следующий день. И на следующий.

Первую неделю они почти не разговаривали.

Он входил, здоровался — коротко, «здрасьте», не поднимая глаз, — проходил к своему столу у окна, садился и раскрывал книгу; в половине седьмого, когда Нина говорила «закрываемся», закрывал, вставал и уходил. За всю первую неделю он сказал ей одиннадцать слов, и Нина считала, потому что делать было нечего, а считать — привычка: «здрасьте», «можно», «спасибо», «до свидания» и один раз, в среду, — «а вода у вас есть?»

Вода была. Кулер стоял в углу, у стеллажа с краеведением, и воду в него привозили раз в месяц, и она всегда заканчивалась раньше.

— Есть, — сказала Нина. — Стакан в шкафчике.

Он налил, выпил, поставил стакан обратно и вернулся на место. Через два дня история повторилась, и Нина поняла, что он не пьёт дома: то есть пьёт, конечно, но не так, чтобы наливать себе стакан, когда хочется, а так, чтобы терпеть до места, где можно. Она поставила у кулера коробку печенья, «для читателей»; печенье было не для читателей, читатели брали редко. Он взял одно — на третий день — и больше не брал, хотя коробка стояла.

Он приходил каждый день, кроме воскресенья.

Приходил в половине пятого, иногда в пять, садился у окна, снимал куртку и вешал её на спинку стула — аккуратно, за воротник, чтобы не мялась, — доставал книгу и читал. Нина сначала думала, что он готовится к экзаменам, а потом посмотрела, что за книга: «Два капитана», Каверин, издание старое, с картой на форзаце, и карта была протёрта до белого в одном месте, там, где Северный морской путь. Она знала это издание — у неё в фонде было такое же, только хуже сохранившееся, и она его не выдавала, потому что страницы начинали сыпаться.

Он читал её четвёртую неделю и всё время с одной и той же страницы.

Нина заметила это случайно, когда проходила мимо с тележкой: закладка торчала на сороковой. Через два дня она снова прошла мимо — закладка на сороковой; через неделю — на сороковой. Она не спросила, потому что спрашивать читателя о книге — это как спрашивать человека о здоровье: можно, но только если он сам начнёт.

Он читал до закрытия.

Не до без четверти шесть, как остальные, которые вдруг спохватывались и начинали собираться, — он читал ровно до шести, до той минуты, когда Нина говорила «закрываемся», и тогда закрывал книгу, не споря, и уходил. И всегда закрывал на одной и той же странице. Нина проверяла не специально, а потому что проходила мимо, убирая журналы: закладка стояла на сороковой, и книга открывалась на соро-

ковой легко, без сопротивления, потому что её там уже много раз открывали. Страница была затёрта — не порвана, не сложена, а просто затёрта, как затирается страница, к которой возвращаются.

Нина думала об этом больше, чем следовало. Она придумывала объяснения, и все они были плохие: что он читает медленно, что он перечитывает, что он не понимает, что он боится идти дальше, потому что дальше в книге начинается то, чего он не хочет. Последнее объяснение было единственным, в которое она верила, и она злилась на себя за то, что верит.

Она знала про него очень мало.

Знала, что его зовут Тимур, — из карточки, которую он заполнил наполовину и бросил в ящик для заявок. Карточка была стандартная: фамилия, имя, год рождения, адрес, телефон; он написал имя, фамилию начал и не закончил — «Тимур…» и дальше зачёркнуто, — а адрес и телефон не написал вовсе. Нина вынула карточку из ящика, потому что вынимала всегда, и положила в папку, в отдельный конверт, где лежали такие же недописанные.

Формуляр она ему не завела, потому что формуляр заводится на читателя, а читатель — это тот, кто берёт книги; он не брал. В конверте, куда она складывала такие карточки, лежало ещё семь: одна была заполнена женщиной, которая написала всё, кроме телефона, и потом три года ходила и брала книги, и Нина так и не спросила, почему она не дописала;

одна — мужчиной, который написал фамилию и зачеркнул её, и вместо неё написал другую, и обе были неразборчивы; одна — девочкой, которая написала «Кристина» печатными буквами и нарисовала в углу кошку. Нина хранила их не потому, что они были нужны, — просто выбрасывать карточки с людьми было нельзя.

В середине сентября он не пришёл два дня подряд.

Нина поймала себя на том, что смотрит на дверь, и это было унизительно; она даже рассердилась: у неё библиотека закрывается, фонд списывают, а она думает про мальчика, который просто сидит у окна. На третий день он пришёл.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Он сел, достал книгу, открыл на сороковой. Нина ничего не сказала и даже не подняла головы, когда он вошёл, — сделала вид, что занята формулярами. Вечером, когда он уходил, она спросила:

— Ты где был?

Он остановился.

— Болел.

— Понятно.

— Уже прошло.

— Хорошо.

Он ушёл, а Нина посидела, глядя на закрытую дверь, и подумала, что «болел» — это, может быть, правда, а может быть, и нет, и что она всё равно ничего не может с этим сде-

лать.

С Дашей он не разговаривал вовсе.

Даша работала через день, во вторую смену, и в её смены в библиотеке было шумно: телефон на штативе, кольцевая лампа, голос. Она снимала.

— Нина Аркадьевна, — сказала она как-то, — а можно я его сниму?

— Кого?

— Пацана. Он сидит как в кино: «Подросток приходит в библиотеку, потому что дома…» — она сделала рукой жест, означавший, что дальше зритель додумает сам. — Триста тысяч будет.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что он не декорация.

Даша пожала плечами и сняла вместо него полку с краеведением: «У нас тут есть книга про мамонта», — и это собрало восемь тысяч просмотров, и она расстроилась. Нина потом думала, что ответила грубо, но иначе ответить не могла: она видела, как снимают — подойдут, поставят свет, скажут «не обращай внимания», и человек сидит, и делает вид, что не замечает, и всё равно замечает каждую секунду. Он приходил сюда, чтобы его не замечали; это было единственное, что Нина про него точно знала.

В конце сентября было три дня дождя.

Дождь шёл стеной, как бывает в сентябре, когда лето уже

кончилось, а осень ещё не началась; крыльцо намокло, ступени блестели, и в зале стало темно, и пришлось включить свет в три часа дня. В зале сидели двое: женщина с ребёнком у стеллажа с детским и он у окна. Женщина ушла в пять, ребёнок ушёл с ней, оставив на столе книжку с лошадью. В шесть Нина сказала:

— Закрываемся.

Он не пошевелился.

— Тимур.

Он поднял голову.

— У вас тут тепло, — сказал он.

Нина посмотрела на печь. Печь не топили с апреля.

— Это не печь, — сказала она. — Это батарея.

— Всё равно.

Он собрался, надел куртку, повесил рюкзак на одно плечо и вышел. Нина заперла дверь и постояла в тамбуре, слушая, как дождь бьёт по железному козырьку. Она подумала, что «тепло» — это не про батарею, и ещё подумала, что за двенадцать лет никто не говорил ей этого слова про библиотеку: говорили «уютно», «хорошо», «как в детстве», а «тепло» не говорил никто. Она запомнила и потом записала в тетрадь — не слово, а то, как он его сказал.

Он засыпал один раз.

Это было в начале октября, когда похолодало и Сан Саныч начал топить по-настоящему: в зале было жарко, печь гудела, и Тимур, который читал свою сороковую страницу, вдруг

положил голову на руку. Нина заметила не сразу — она подняла глаза от формуляра и увидела, что он спит, по-настоящему, глубоко, как спят люди, которые не высыпаются. Она не стала будить: подошла, взяла его куртку со спинки стула и накрыла ему плечи. Куртка была тонкая, но всё-таки. Потом вернулась за стол и сидела тихо, даже не щёлкала мышкой, и телефон поставила на беззвучный.

Он проспал сорок минут. Проснулся, поднял голову, посмотрел на часы на стене и на неё — и ей показалось, что он испугался.

— Ничего, — сказала Нина. — До шести ещё есть время.

Он молчал.

— Куртку возьми, — сказала она. — Холодно.

Он взял куртку, надел, сел обратно и открыл книгу на сороковой. Больше он не засыпал ни разу.

В начале октября он починил стул.

Стул у окна был старый, с расшатанной ножкой, и Нина давно собиралась его выбросить, но всё не выбрасывала, потому что выбросить стул — это тоже действие. Тимур сел, и стул под ним качнулся; он встал, посмотрел на ножку, потом на Нину.

— У вас есть отвёртка?

Отвёртка была в нижнем ящике. Он взял её, перевернул стул, подтянул винт, поставил стул на место и покачал его ладонью.

— Всё.

— Спасибо.

Он кивнул и вернулся к книге. Нина потом подумала, что это была первая вещь, которую он в библиотеке сделал, а не прочитал.

В октябре же он помог занести коробки.

Пришли книги из района — списанные из другой библиотеки, тридцать штук, в двух коробках, — и водитель оставил их на крыльце, потому что «мне некогда». Нина вышла, посмотрела на коробки и поняла, что не поднимет. Тимур вышел следом.

— Давайте.

— Тяжёлые.

— Я донесу.

Он взял первую — поднял легко, как поднимают люди, которым не впервой, — и понёс в дом, потом вторую; Нина держала дверь.

— Спасибо.

— Не за что.

Он отряхнул руки и сел обратно, и через минуту уже читал сороковую страницу, и по нему нельзя было сказать, что он вообще вставал. Нина тогда впервые подумала: он здесь не потому, что ему негде сесть, а потому, что здесь можно быть полезным, и никто не спросит, почему ты пришёл.

Один раз она попробовала дать ему другую книгу.

Это было в конце октября: она поставила перед ним тонкий том — «Белый Бим Чёрное ухо», издание с фотографи-

ями, — и сказала:

— Попробуй.

Он посмотрел на книгу.

— Я свою читаю.

— Я вижу. Попробуй эту. Если не пойдёт — вернёшь.

Он помолчал, потом открыл, прочитал первую страницу, закрыл и отодвинул.

— Не то.

— Почему?

— Там про собаку.

— И что?

— Собаку жалко.

Нина не нашла, что ответить.

— А в твоей книге не жалко?

Он подумал.

— Там тоже жалко. Но там сначала долго ничего не жалко.

Нина потом часто вспоминала эту фразу. Она была точная: людям, у которых в жизни уже жалко, нужно, чтобы в книге сначала было не жалко, — чтобы был запас.

Его замечали.

Ольга Валерьевна, когда пришла в октябре с актом, увидела его у окна и спросила вполголоса:

— А это чей?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— Так. Приходит и сидит.

— А документы?

— Нет документов.

Ольга Валерьевна посмотрела на неё внимательно.

— Нина Аркадьевна, вы понимаете, что если с ним что-нибудь случится в помещении, то это будет…

— Понимаю.

— Я не в том смысле, что надо выгнать. — Она помолчала. — Я в том смысле, что вы хотя бы фамилию узнайте.

Нина не узнала. Она думала об этом вечером, и ей было стыдно: она, взрослая женщина, не спросила у подростка фамилию, потому что боялась его спугнуть, — а он, может быть, как раз этого и ждал, что кто-нибудь спросит.

В середине октября, в среду, Нина задержалась до половины седьмого: разбирала акты за прошлый год, чтобы понимать, что придётся списывать. Тимур сидел у окна, и свет она не гасила, потому что не хотела выгонять.

В двадцать минут седьмого он закрыл книгу и подошёл к столу.

— До свидания.

— До свидания.

Он постоял, потом сказал:

— А вы правда всё это прочитали?

Он показал подбородком на стеллажи — на четыре ряда, на восемнадцать тысяч томов, на всю эту стену, которую Нина двенадцать лет видела каждое утро первой и каждый вечер последней. Нина посмотрела туда же.

— Нет, — сказала она.

— А сколько?

— Много.

Он кивнул, как будто получил ответ, который и ожидал, и пошёл к двери.

— Тимур.

Он обернулся.

— Приходите в половине пятого, — сказала Нина. — Сейчас в зале до шести, а зимой до половины шестого. Чтобы вы не опаздывали.

— Я не опаздываю.

— Я знаю. Я на будущее.

Он ушёл.

Она потом вспоминала этот разговор: не слова, слова были обыкновенные, а то, как он спросил. Не «вы всё прочитали?», а «вы правда всё это прочитали?» — и в этом «правда» было что-то, чего Нина не ожидала: не насмешка и не восхищение, а проверка, как будто он хотел знать, стоит ли доверять человеку, который сидит в комнате с восемнадцатью тысячами книг и говорит, что прочитал их не все.

Она тогда не сказала ему правду. Правда была в том, что она прочитала, может быть, шестьсот книг и помнила из них хорошо — двадцать, и что с тех пор, как умерла мать, она не прочитала ни одной.

Однажды она спросила про сороковую.

Это было в ноябре, когда за окном уже лежал снег и в зале

горел свет целый день.

— Тимур, а что там, на сороковой?

Он поднял голову.

— Ничего.

— Совсем ничего?

Он подумал.

— Там ещё ничего не случилось.

Нина не поняла и переспросила:

— А дальше?

— А дальше всё.

Он сказал это спокойно, как говорят очевидное, и вернулся к чтению. Нина потом целый вечер думала об этом ответе и даже достала с полки своё издание — то самое, рассыпающееся, — и открыла на сороковой: там было письмо, длинное, на две страницы, и в нём человек объяснял, почему он уезжает. Она прочитала его и закрыла книгу. «Там ещё ничего не случилось» — это была правда: всё самое страшное в этой книге начиналось позже, и мальчик, который читал её четвёртый месяц, до страшного не доходил.

Он читал странно.

Не так, как читают люди, которые читают быстро, когда глаза бегут по строке, рука переворачивает страницу и через минуту ты уже на следующей. Он читал медленно: губы у него шевелились — чуть-чуть, почти незаметно, — и палец лежал под строкой, как у первоклассника. Нина сначала думала, что он плохо читает, а потом поняла, что хорошо: про-

сто он читает так, как читают люди, которым некуда спешить и которые хотят, чтобы книга не кончалась.

Он никогда не загибал уголки. Закладка у него была — та самая, из обрезка обложки, — и он перекладывал её аккуратно, двумя пальцами. Книгу он закрывал бережно, как закрывают дверь в комнату, где кто-то спит.

В декабре ударили морозы, и в зале стало холодно так, что Нина сидела в пальто, а Сан Саныч топил дважды в день.

Тимур пришёл в мороз в той же куртке. Он вошёл, и Нина увидела, что у него красные руки — не розовые, а именно красные, как бывают у людей, которые долго шли без перчаток.

— Ты где перчатки?

— Забыл. Дома.

Она налила ему чаю — в свою чашку, ту, с трещиной, — и поставила на стол.

— Пей.

Он посмотрел на чашку.

— А вы?

— У меня есть.

Он взял чашку двумя руками и держал её, не пья, минуты две, потом выпил.

— Спасибо.

— Не за что.

Он вернулся на место и в тот день читал в куртке, не снимая. Нина не сказала ему снять, потому что подумала: если

он не снимает, значит, ему так теплее, и спорить с этим глупо.

В декабре она увидела женщину.

Было половина пятого, смеркалось, и Нина стояла у окна с формулярами. Напротив библиотеки, у магазина, стояла женщина в пуховике и смотрела на крыльцо. Она стояла долго, минуты три, не двигалась и не заходила, а потом развернулась и пошла в сторону остановки. Нина не успела рассмотреть её лица и запомнила только пуховик — бордовый, с капюшоном, — и то, как женщина стояла: руки в карманах, плечи чуть подняты.

Через неделю она увидела её снова. В этот раз женщина стояла ближе, у берёзы, и смотрела не на крыльцо, а на окно, у которого сидел Тимур. Нина тогда вышла на крыльцо.

— Здравствуйте. Вы кого-то ищете?

Женщина обернулась.

— Нет. Я так.

— У нас библиотека. Если что, заходите.

— Спасибо.

Она ушла, и больше Нина её не видела. Она так и не спросила у Тимура, кто это; она даже не была уверена, что это кто-то.

В конце декабря он пришёл последним: библиотека закрывалась тридцать первого на два дня, и Нина предупредила всех, кто ходил. Тимур пришёл тридцатого, сел у окна и читал до шести. Когда он встал, Нина сказала:

— Мы закрыты первого и второго. Третьего работаем.

— Хорошо.

— Ты придёшь третьего?

Он задумался, как будто это был сложный вопрос.

— Приду.

Он надел куртку, повесил рюкзак на плечо и вышел. Нина заперла за ним дверь, постояла в тамбуре и вдруг поняла, что за четыре месяца он ни разу не спросил у неё ничего о ней самой. Она знала про него имя, возраст примерно, что дома не тепло, что он читает одну книгу и не идёт дальше сороковой; он про неё не знал ничего. И почему-то от этого ей стало легче.

Третьего января он пришёл в половине пятого.

— С Новым годом, — сказал он.

— С Новым годом.

Он сел у окна, достал книгу, открыл на сороковой. Нина посмотрела на него и подумала, что это, кажется, первый человек за весь год, который пришёл в библиотеку и не сказал «у вас тут ничего не изменилось».

В январе она начала разбирать фонд.

Списки приходили из района, и в них были инвентарные номера, и по номерам надо было найти книги на полках, снять с учёта и сложить в коробки. Работа была механическая и потому почти приятная: находишь, вычёркиваешь, кладёшь. Тимур сидел у окна, потом подошёл.

— Вам помочь?

— Ты читаешь.

— Я уже прочитал.

Нина посмотрела на сороковую страницу, на которой он «уже прочитал», и ничего не сказала.

— Ладно. Держи список. Ищешь по номеру на форзаце.

Они работали два часа. Он находил быстро — быстрее, чем она, — потому что у него были молодые глаза и он не отвлекался. На третьей коробке он остановился.

— Эту за что?

Нина подошла. У него в руках был тонкий том — «Рассказы о животных», издание с картинками, потрёпанное.

— Не выдавалась пять лет.

— Совсем?

— Совсем.

— А почему?

— Потому что дети теперь берут другое.

Он посмотрел на книгу, потом на коробку.

— Её же можно кому-нибудь отдать.

— Можно, — сказала Нина. — Только некому.

Он положил книгу в коробку, а потом достал.

— Можно я её возьму?

— Возьми.

— Правда?

— Правда. Только оформим.

Она завела ему формуляр — первый за четыре месяца, — и он написал в нём «Тимур Т.», и на этом остановился.

— Фамилию.

— А зачем?

— Так положено.

Он помолчал и написал фамилию. Нина посмотрела: фамилия была обыкновенная, короткая, и она её потом забыла, потому что запоминала людей не по фамилиям. Книгу он взял, а через неделю вернул — прочитанную, с закладкой на последней странице.

В феврале она взяла домой своё издание «Двух капитанов» — то самое, рассыпающееся, которое не выдавала, потому что страницы сыпались. Принесла его домой, положила на кухонный стол, села напротив и смотрела на него минут десять, потом открыла.

Она открыла на первой странице и стала читать — глазами, медленно, как читают люди, которые разучились. Первый абзац прошёл, второй; на третьем она поймала себя на том, что не помнит, о чём был первый. Она вернулась и прочитала снова. Так она просидела час и дошла до седьмой страницы, потом закрыла книгу, убрала её на полку — не в шкаф, а на полку в коридоре, чтобы не видеть, — и пошла мыть чашку. Мыла долго, с мылом, до скрипа.

Даша в январе сделала ролик про пустой зал: не про фонд и не про списание, а просто медленную съёмку — стулья, стол, окно, пыль в луче света, — и голос за кадром: «Библиотека в Крутояре. Последняя зима». Ролик собрал немного, тысяч двадцать, но в комментариях опять началось.

— Нина Аркадьевна, — сказала Даша, — а давайте про мальчика.

— Нет.

— Почему? Это же красиво. Он приходит каждый день, люди такое любят.

— Даша.

— Что?

Нина отложила ручку.

— Ты представляешь, что будет, когда этот ролик увидит его мать?

Даша открыла рот и закрыла.

— В смысле?

— В прямом. Ты снимешь мальчика, который ходит в библиотеку, потому что дома плохо. Тысяча человек напишет «бедный ребёнок». А потом это увидит его мать.

— И что?

— И ничего. Просто она увидит, что весь интернет знает, что у неё дома плохо.

Даша молчала.

— Я не знаю, что у него дома, — сказала Нина. — И ты не знаешь. И не надо.

Даша ушла в зал и долго не выходила, потом вернулась и сказала:

— Ладно. Я не буду.

— Спасибо.

— Но вы зря думаете, что я хочу плохого.

— Я не думаю.

— Думаете.

Нина посмотрела на неё.

— Даша, я думаю, что ты хочешь, чтобы тебя заметили. Это не плохо. Просто замечают не тебя, а его.

Даша ничего не ответила.

В феврале он спросил про неё.

Это было в конце дня, когда все ушли и остались только они двое.

— Нина Аркадьевна, а вы здесь давно?

Она подняла голову. Он стоял у стола с книгой в руке.

— Двенадцать лет.

— Двенадцать? И не уезжали?

— Не уезжала.

— Почему?

Нина посмотрела на него и поняла, что вопрос не праздный: он спрашивал не из вежливости, а потому что сам думал об отъезде и ему нужно было знать, как живут те, кто остался.

— Потому что мать болела, — сказала она.

— А потом?

— А потом было поздно.

Он кивнул и не стал спрашивать дальше.

— А сейчас?

— Что сейчас?

— Сейчас поздно?

Нина не сразу нашла, что ответить.

— Не знаю, — сказала она. — Наверное, нет.

Он кивнул ещё раз и пошёл к двери.

— Тимур.

Он обернулся.

— А ты почему здесь?

Он постоял.

— У вас тут тепло, — сказал он и вышел.

Она записывала его в тетрадь почти каждый день.

Сначала коротко: «Тимур. Сидел до закрытия». Потом длиннее: что читал, на какой странице, в чём пришёл. В феврале она поймала себя на том, что записывает уже не читателя, а человека: «Пришёл в куртке, шапки нет. Сказал, что не холодно. Уши красные». Нина посмотрела на эту запись и подумала, что так пишут не библиотекари, а матери. Вычёркивать не стала.

Сан Саныч спросил про него в конце февраля.

— Этот твой всё ходит?

— Ходит. Кроме воскресенья.

Истопник покачал головой.

— Я бы в его годы не ходил.

— Почему?

— В мои годы в библиотеку ходили те, кому надо: сочинение, то-сё. А просто так — не ходили. А сейчас тем более.

Он подложил полено и добавил:

— Значит, ему надо. Только ты у него не спрашивай, чего

надо. Спросишь — уйдёт.

Нина посмотрела на него.

— Вы, Сан Саныч, педагогический институт заканчивали?

— Я тридцать четыре года в школе работал, — сказал он. — Это то же самое, только без зарплаты.

Вечером она заперла дверь, погасила свет в зале и постояла немного в темноте, у стола, положив руку на верхний ящик, где под квитанциями лежала чужая книга с закладкой на двести четырнадцатой. Ключ она не повернула: просто постояла и пошла одеваться.

Запись в тетради.

Двадцать шестое сентября. Тимур. «Два капитана», сороковая страница, четвёртая неделя. Формуляр так и не завёл. Сказал: «У вас тут тепло».

Отдельно. Спал сорок минут. Я накрыла его курткой. Он испугался, когда проснулся.

Отдельно. Спросил, почему я не уехала. Я сказала правду. Он не удивился — как будто другого и не ждал.

Глава 3. Печь

Сан Саныч приходил в семь.

Нина приходила в восемь сорок и заставала одно и то же: в зале тепло, у печки таз с золой, на подоконнике его стакан с недопитым чаем и крышка от термоса, которую он вечно забывал. Приходил он не по расписанию, а по привычке, то есть всегда, и появлялся раньше всех в посёлке, кроме, может быть, Валеры-дворника, который мел у магазина.

Сначала он колол щепу.

Колол её с осени, во дворе, за печкой, где стоял чурбак и лежал топор с рассохшимся топорищем. Правая рука у него плохо слушалась с зимы — то ли оттого, что он её отморозил в молодости, то ли просто от возраста, — и колол он медленно, с передышками, но сам, потому что «нанимать на это человека — деньги на ветер». Щепа лежала в подсобке, в жестяной коробке из-под печенья, с нарисованным медведем, и медведь стёрся до жести в том месте, где её брали рукой.

Потом он брал два полена. Не три и не четыре — два; объяснял это так: «Печка не любит жадных». Два полена крест-накрест, а между ними щепа и бумага. Бумаги в библиотеке было много: старые газеты, списанные формуляры, обрезки от актов, — но Сан Саныч брал только газеты, потому что «в формулярах фамилии, их жечь нельзя». Он был прав, и Нина никогда не задумывалась об этом до него.

Во дворе у него был свой порядок: чурбак, топор, три пустых бочки из-под краски и тачка без колеса. Под навесом лежали дрова, уложенные клеткой, — Сан Саныч укладывал их сам, потому что «сваливать в кучу — это не дрова, а мусор». Навес был из куска шифера, прибитого к двум столбам; шифер старый, в трещинах, дождь в него проходил, и каждый год Сан Саныч говорил «надо перекрыть», а каждый год завхоз отвечал «в следующем».

Там же жил кот — рыжий, приблудный, которого он подкармливал с прошлой зимы. Кота звали Барсик, хотя Сан Саныч звал его «эй».

— Эй, — говорил он, вынося миску. — Ну и где тебя носило.

Барсик приходил не всегда: иногда его не было по три дня, и Сан Саныч ходил мрачный и говорил, что «этот опять ушёл к магазину, там колбаса». Через три дня Барсик возвращался, и Сан Саныч делал вид, что не заметил.

Печь была большая, кирпичная, сложенная ещё при Марии Семёновне. Кто её клал, никто не помнил; на одной из задвижек была выцарапана фамилия «Печников», и Сан Саныч утверждал, что это фамилия мастера, а Нина думала, что это просто фамилия человека, которому было скучно. Печь занимала в углу места примерно как два стеллажа, внутри было три хода, и Нина так и не научилась понимать, какой из них работает; Сан Саныч понимал.

Он открывал дверцу, заглядывал внутрь, щурился и го-

ворил «тяга есть» или «тяги нет», и тогда выходил во двор, лез на приступок и смотрел на трубу. Труба была старая, кирпичная, с налётом сажи, и вороны сидели на ней каждое утро.

Печку он знал лучше, чем кто-либо: знал слабое место — шов над дверцей, где кладка расходится; знал, что в морозы надо топить дважды, а в оттепель хватит одного раза; знал, что если закрыть задвижку рано, угар пойдёт в зал, и поэтому надо ждать, пока всё прогорит, и только потом.

— Печка — это не мебель, — говорил он. — Это животное. Её кормить надо.

Нина иногда думала, что он говорит про себя.

Термос у него был старый, зелёный, с отбитой крышкой, и он приносил его каждый день: заливал кипятком в семь, до растопки, и ставил на подоконник остывать до «нормального». Пил не спеша, маленькими глотками и всегда стоя, глядя в окно.

— Садитесь, — говорила Нина.

— Я стоя.

— Почему?

— Так быстрее.

Нина так и не поняла, что быстрее. Чай он пил без сахара и без ничего; однажды она предложила ему печенье, он взял одно, поблагодарил и не съел, а положил в карман, и она потом видела, как он кормит им Барсика.

В то утро он сказал:

— Дымит.

— С чего?

— С сырости. Дрова отсырели. Я говорил завхозу, что надо под навес.

— Говорили.

— Говорил.

Нина села за стол и стала разбирать почту: счета, счета, письмо из районной администрации, снова счета. Печь потихоньку набирала, и в зале становилось теплее на градус, потом на два, и вместе с теплом приходил запах — берёзовый, сладковатый, тот самый, который Нина потом находила на пальто уже к вечеру.

В тот день она задымила всерьёз.

Сначала ничего не было; потом в зале потянуло — не запахом, а именно дымом, — и через десять минут у стеллажа с краеведением стояло серое облако.

— Сан Саныч.

— Вижу.

Он подошёл к печи, открыл дверцу, закрыл, вышел во двор, вернулся.

— Тяги нет.

— И что?

— И всё. Надо ждать.

Он открыл форточку, потом вторую, потом входную дверь настежь, и в зал ворвался октябрь: холодный, мокрый, с запахом мокрой листвы и мокрой собаки. Пришли две женщи-

ны и остановились на пороге.

— У вас дым.

— Печку топим.

— А мы думали, пожар.

— Нет, — сказал Сан Саныч. — Пока нет.

Они посмеялись и ушли, но книги не взяли, и Нина потом подумала, что это первый раз за год, когда человек ушёл из библиотеки без книги.

Дым шёл часа полтора. Нина сидела в пальто, потому что с открытыми окнами стало холодно, разбирала формуляры и краем глаза смотрела на Сан Саныча, который ходил между печью и трубой, как ходят люди, у которых есть дело и которые знают, что дело не сделается само. К обеду тяга появилась, дым ушёл, Сан Саныч закрыл окна, вытер подоконники и сказал:

— Всё.

— Всё?

— Всё. До следующего раза.

Он сел на табурет и долго молчал, и Нина не спрашивала, о чём.

— Сан Саныч, а вы в школе сколько лет?

Он замолчал, потом выпрямился и вытер руки о штанину.

— Тридцать четыре. Русский и литература. Пятые — десятые.

Нина знала это — знала с тех пор, как ей самой было четырнадцать и он стоял у доски в клетчатом пиджаке, и все

его боялись, потому что он требовал учить наизусть, а не «по смыслу». Она не сказала «вы у меня вели», и он тоже не сказал; так у них это и осталось — несказанным, но общим.

— А потом?

— А потом школу закрыли, — сказал он. — Оптимизировали. Дети в райцентр ездят, автобус два раза в день.

— Не припомню.

— Ты в городе была.

— Была.

Он подложил полено и постоял, глядя на огонь.

— Это весной было, в апреле. Собрали нас в учительской, пришёл человек из района, стал говорить: про эффективность, про то, что здание старое, про то, что детей мало.

— Мало?

— Девяносто четыре было. — Он усмехнулся. — Когда я начинал, было четыреста двадцать.

Нина отложила счёт.

— И что вы?

— А что я? Я задал вопрос. Я спросил: а куда они поедут.

Он помолчал.

— Он мне ответил: про автобус, про то, что это нормально, что в райцентре школа хорошая, что там и бассейн, и всё.

— И?

— И я сказал: а обратно?

— Что обратно?

— Обратно, говорю, они в шесть вечера приедут, а в шесть

у нас уже темно. — Он покачал головой. — Он не понял.

Нина представила себе эту учительскую: столы, стулья, портрет, человек из района с папкой и Сан Саныч — тогда ещё не Сан Саныч, а Александр Александрович, — который спрашивает про темноту.

— И что потом?

— Потом был последний звонок. Настоящий, с колокольчиком; девочка из девятого несла его на плече, как положено. Все плакали.

— Вы?

— Я нет. — Он подумал. — Я потом.

Он топил печь уже пятый год.

Школу закрыли в апреле, а в сентябре он пришёл к Ольге Валерьевне и спросил, нет ли работы.

— Она удивилась, — рассказывал он. — Говорит: «Александр Александрович, вам же шестьдесят четыре». Я говорю: «Ну и что». Она говорит: «У нас только истопник».

— И вы согласились.

— Я согласился.

— Почему?

Он посмотрел на неё так, как смотрят на человека, который спрашивает очевидное.

— Потому что это рядом с домом.

Нина подумала, что за пять лет он ни разу об этом не жалел вслух, и что это, наверное, и есть ответ.

— А вы не скучаете? — спросила она.

— По чему?

— По школе.

Он долго молчал.

— Скучаю, — сказал он наконец. — По звонку.

— По звонку?

— По звонку. — Он усмехнулся. — Я тридцать четыре года жил по звонку: встал, пошёл, отзвенело — можно сесть, ещё отзвенело — можно домой. А теперь у меня звонка нет.

— И как?

— А как есть. — Он подложил полено. — Теперь у меня печка. Она тоже звенит, когда топится. Не то, конечно.

Нина улыбнулась.

— Сан Саныч, а что вы читали своим?

— Что положено. Программу.

— А сверх программы?

Он задумался.

— «Два капитана» всегда давал внеклассное. И «Дон Кихота» — но его никто не читал.

— И «Два капитана» читали?

— Читали. — Он посмотрел на неё. — У меня один мальчик даже наизусть выучил: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Я его за это на районную олимпиаду посылал.

Нина ничего не сказала.

— А ты? — спросил он. — Читала?

Она помолчала.

— Читала.

— Всю?

— Не всю.

Он кивнул, как будто другого ответа и не ждал, и пошёл за следующей охапкой.

Она помнила один его урок.

Это был девятый класс, зима, и они проходили «Войну и мир». Класс не читал — как всегда, — и Александр Александрович это знал. Он не стал кричать: закрыл журнал и сказал:

— Закройте учебники. Сейчас будет диктант.

Класс застонал.

— Не диктант. Изложение. Я читаю вам страницу, вы пишете, что запомнили.

Он читал про ночь в Отрадном — про то, как Наташа стоит у окна и говорит, что ей хочется полететь. Читал медленно, с паузами, и в паузах было слышно, как в коридоре кто-то бежит. Потом сказал «всё», и они писали двадцать минут. Нина написала полстраницы и остановилась: она помнила не слова, а то, как он читал, — низко, ровно, будто он не читал, а рассказывал это кому-то одному.

Он потом собрал листки, не проверил ни одного и на следующем уроке сказал:

— Вот что вы запомнили. Значит, это и есть литература. Остальное — программа.

Нина тогда не поняла. Она поняла через двадцать лет, когда читала вслух матери и слышала, как её собственный го-

лос делает те же паузы.

— Вы помните Отрадное? — спросила она.

Он поднял голову.

— Что?

— Ну, урок. Девятый класс. Вы читали про окно.

Он смотрел на неё долго.

— Ты была в девятом «б», — сказал он. — У тебя коса была.

— Была.

Он отвернулся к печи и стал поправлять задвижку, и Нина увидела, что у него дрожат руки — не от старости, а так.

— Я помню, — сказал он. — Я всегда помню. Это профессиональное.

К одиннадцати в зале стало жарко, и пришлось открыть форточку.

Пришли две девочки, взяли что-то про котиков и ушли; пришёл мужчина, долго искал «Онегина», нашёл, полистал и поставил обратно; пришла женщина и спросила, нет ли чего-нибудь «про здоровье, но не страшное», и Нина дала ей книгу про сон. Сан Саныч сидел на табурете у печи и молчал, и он умел молчать так, что это не было неловко: он молчал, как молчат люди, которым нечего доказывать.

После обеда пришёл мужчина лет сорока, в куртке и с сумкой, и спросил краеведческую литературу. Нина достала Рассадкина.

Мужчина взял книгу, раскрыл, посмотрел на форзац — и

вдруг поднял глаза на Сан Саныча, который сидел у печи.

— Александр Александрович?

Сан Саныч обернулся.

— Здравствуйте.

— Вы меня не помните.

— Помню.

— Не помните.

— Лёшка Кузнецов, — сказал Сан Саныч. — Ты в девятом на «Трёх мушкетёров» сочинение писал, на две страницы, про дружбу.

Мужчина засмеялся.

— Точно. Я про дружбу написал, а вы сказали, что я про д'Артаньяна написал.

— А ты и написал про д'Артаньяна.

— Так он же главный.

— Он не главный. Главная там дружба. — Сан Саныч пожал плечами. — Но ты хорошо написал. Четвёрка с плюсом.

Мужчина стоял и смотрел на него.

— Я в райцентре живу, — сказал он. — Приехал к матери. Зашёл в библиотеку, потому что у неё книг нет. А вы теперь тут?

— Тут.

— А школа?

— Закрыли.

Мужчина помолчал.

— Жалко.

— Жалко, — согласился Сан Саныч.

Он подложил полено и добавил:

— Ты Рассадкина возьми. Он у нас один.

Мужчина взял книгу, оформился у Нины и ушёл, а на крыльце обернулся и ещё раз сказал: «Спасибо, Александр Александрович». Сан Саныч кивнул.

Когда он ушёл, Нина спросила:

— Вы всех помните?

— Не всех. — Он смотрел на печь. — Тех, кто писал хорошо. И тех, кто писал плохо. Остальных не помню.

— А почему?

— Потому что остальные писали одинаково.

— Бумагу подписала? — спросил он потом.

— Подписала.

— Теперь до января.

— А после января?

Нина посмотрела на стеллажи: восемнадцать тысяч томов, и она помнила примерно шестьсот из них — те, что держала в руках.

— После января — полка в фойе, — сказала она. — Может, угол дадут.

— Угол.

— Угол.

Сан Саныч покачал головой и сказал ту фразу, которую она потом вспоминала чаще, чем все остальные его слова:

— Фонд — это не книги. Это количество людей, которые

ещё помнят, что они тут были.

— Красиво.

— Не красиво. Просто так и есть. Книги-то они что, — он кивнул на стеллажи, — они стоят, хоть сто лет простоят. А люди уходят, и вот тогда фонд кончается.

Нина промолчала.

— Вот ты, — сказал он. — Ты же уйдёшь.

— Я не уйду.

— Уйдёшь. Тебе тридцать семь.

— И что?

— А то. В тридцать семь ещё хочется.

Он сказал это без нажима, как говорят о погоде, и Нина вдруг почувствовала, что краснеет, — в тридцать семь лет, от одного старика на табурете.

Она спросила, чтобы перевести разговор:

— А вы что читаете?

— Сейчас?

— Сейчас.

Он подумал.

— Пушкина. Перечитываю.

— Всего?

— По кругу. — Он усмехнулся. — С утра до вечера не читаю, если ты об этом; глаза уже не те. Страниц двадцать в день, и то с перерывом.

— И что, не надоедает?

— Пушкина нельзя перечитать. — Он сказал это просто,

без нажима, как человек говорит о том, в чём уверен. — Вот я тридцать четыре года его преподавал и каждый раз находил что-то, чего не видел.

— Например?

Он помолчал.

— «Мне грустно и легко; печаль моя светла». — Он посмотрел на неё. — Я её в шестом классе читал как «грустно». А теперь читаю как «легко».

Нина ничего не сказала.

— Это не программа, — добавил он. — Это возраст.

Потом он рассказал про жену.

Не сразу, а так: сидел, смотрел на огонь и сказал:

— У меня Зоя в школе физику вела.

— Я не знала.

— Ты и не могла знать, ты в выпускном была. — Он подложил полено. — Она умерла восемь лет назад. В июне.

Нина сказала:

— Извините.

— Ничего. — Он помолчал. — Я к тому, что она читала в кухне.

— В кухне?

— У нас кухня маленькая была, но светлая. Она садилась у окна, варила что-нибудь и читала, и всё время мне вслух, по полстраницы, пока не выкипит.

Нина улыбнулась.

— И что она читала?

— Всякое. — Он подумал. — «Мастера и Маргариту» читала, я тогда не понял. «Трёх товарищей» читала, Ремарка она любила. И всё время говорила: «Саш, ну ты послушай».

— А вы?

— А я слушал. — Он пожал плечами. — Я тогда думал, что я устал, что мне тетради проверять, что завтра шесть уроков. А слушал.

Он замолчал.

— Вот это и осталось, — сказал он наконец. — Не тетради, не уроки. А как она в кухне читает и говорит: «Саш, ну ты послушай».

Нина смотрела в сторону, потому что смотреть на него было неловко.

— Вы поэтому в библиотеку пошли? — спросила она.

— Не знаю, — сказал он. — Может, поэтому.

В полдень позвонила Ольга Валерьевна.

Сан Саныч как раз подкладывал полено, и трубку взяла Нина.

— Нина, здравствуйте. У вас там тепло?

— Тепло.

— Хорошо. Мне нужно до пятницы отчёт по отоплению: показания, сколько дров израсходовано. Александр Александрович знает, он каждый год сдаёт.

Нина передала трубку. Сан Саныч слушал, мычал, потом сказал:

— Два куба.

Помолчал.

— Два. Я говорю — два.

Помолчал.

— Ольга Валерьевна, я не «примерно». Я два куба сжёг. — Он повысил голос ровно настолько, чтобы это было слышно, и не больше. — Я вам цифру назову, а вы её в отчёт поставьте.

Он слушал ещё минуту, потом сказал «хорошо», потом «до свидания» и отдал трубку.

— Что она?

— Просит, чтобы я написал «ориентировочно». — Он сел на табурет. — Я тридцать четыре года писал «ориентировочно» в характеристиках. А дрова — это не характеристика. Это дрова.

Нина засмеялась, и он посмотрел на неё и тоже усмехнулся — коротко, одним углом рта.

— Ты смейся, — сказал он. — Я теперь по бумагам истопник. Ноль пять ставки. Я в это не вникаю, мне за это платят четыре тысячи двести.

— Четыре двести?

— Четыре двести. — Он помолчал. — За тридцать четыре года работы я получал больше.

Нина не нашлась, что сказать.

— Ладно, — сказал он. — Зато рядом с домом.

Это была его формула на всё, и Нина потом замечала, что он произносит её в тех случаях, когда сказать больше нечего,

и что она у него работает.

— А вы не пробовали? — спросила она потом, осторожно.

— Ну, в райцентр. Там же школа.

— Пробовал. И мне сказали: «Александр Александрович, вы человек заслуженный, но у нас ставки нет». — Он сказал это ровно, без обиды. — Я даже не расстроился. Я тогда уже понял.

— Что поняли?

— Что меня тоже списали. В один год с фондом.

Нина посмотрела на него.

— Это вы так говорите.

— А как мне говорить? — Он пожал плечами. — Меня в шестьдесят четыре года вывели за штат, школу закрыли, фонд списывают — всё в один год, в одну бумагу. Я даже думаю, её один человек писал.

Он сказал это спокойно, почти весело, и Нина подумала, что так говорят люди, которые давно всё пережили и которым осталось только рассказать.

— Только меня не списали, — добавил он. — Меня в истопники перевели. Разница есть.

— Какая?

— А такая. — Он встал и открыл дверцу печи, и оттуда ударило теплом. — Списанное лежит. А я топлю.

Потом они вместе сели над списком.

Он читал медленно, водя пальцем, и иногда останавливался.

— Эту не трогай.

— Она не выдавалась пять лет.

— Она выдавалась. — Он поднял глаза. — Я сам её выдавал. Женщине, которая приходит с палочкой.

— В акте написано по-другому.

— В акте написано по-другому, потому что карточку потеряли. — Он передал ей список. — Ты проверь.

Нина проверила пять позиций и нашла три ошибки. Она потом думала, что если бы комиссия пришла не с рулеткой, а с Сан Санычем, список был бы короче на треть.

Про мать он спросил ближе к вечеру.

— Ты в райцентр ездила?

— Зачем?

— Ну, проведать.

— Некого проведывать.

Он замолчал.

— Извини.

— Ничего.

Он подложил полено и сказал, глядя на огонь:

— Я свою мать каждый месяц навещаю. Девяносто один. Она меня не узнаёт через раз.

— Не узнаёт?

— Через раз: сегодня узнает, завтра нет. — Он пожал плечами. — Я привык.

— И что вы делаете, когда не узнаёт?

— Разговариваю. — Он усмехнулся. — Представляюсь.

Нина посмотрела на него.

— И как?

— А нормально. Она говорит: «А, это вы». И всё. — Он помолчал. — Она мне один раз сказала: «Молодой человек, вы не могли бы принести мне чаю». Я принёс.

Вечером Нина осталась одна и пила чай у уже остывающей печки. Батарея щёлкала; за окном шёл мелкий дождь, тот, который не идёт, а висит.

Она вспомнила, как мать говорила: «Ты читай, читай, я всё равно слышу», — и как она читала каждый вечер, два года, до самого конца, пока не дошла до двести четырнадцатой страницы. Она тогда остановилась и сказала: «На сегодня хватит». Мать сказала: «Хорошо». Больше они не читали. Нина тогда думала, что это на завтра.

Она помнила тот вечер подробно.

Было уже темно, горела лампа на столе, и мать лежала высоко на подушках, потому что дышать лёжа она не могла. Книга была тяжёлая — Нина держала её на весу, чтобы матери было видно обложку, хотя матери обложка была не нужна. На двести четырнадцатой странице кончалась глава; Нина дочитала до точки и сказала:

— На сегодня хватит.

— Хорошо, — сказала мать.

И это «хорошо» было такое спокойное, что Нина не почувствовала ничего. Она закрыла книгу, поправила одеяло, выключила верхний свет и оставила ночник. Она вышла в

кухню и выпила воды и подумала: завтра. Завтра мать уже не могла слушать; послезавтра — тоже. Потом приехала «скорая», потом были три дня, которых Нина почти не помнила, потом девятый день, потом сороковой, потом зима. Книга осталась на тумбочке, и никто её не убрал.

Нина увезла её в город, в коробке с документами, и двенадцать лет не открывала, потому что знала: там ровно двести четырнадцать страниц и один непрочитанный абзац, и от этого абзаца ничего не изменится. Она не открыла и сейчас.

Нина поставила чашку и стала мыть её в раковине за занавеской — долго, тщательно, с мылом; потом вытерла насухо, хотя чашка была старая и трещина всё равно бы осталась, и поставила на полку. Потом села обратно.

Печь уже не грела, а только отдавала — тем ровным, тихим теплом, которое держится в кирпиче часа два после того, как прогорело. Нина подумала, что за двенадцать лет она провела у этой печки, наверное, тысячу вечеров, и что за тысячу вечеров можно было прочитать много книг. Она не прочитала.

Мария Семёновна умерла в марте, и печь в ту зиму топила ещё она.

Нина пришла в библиотеку двенадцать лет назад, после института, на полставки, «пока не найду нормальную работу», и Мария Семёновна тогда сказала:

— Нормальной не будет. Будет эта.

Она была маленькая, сухая, с седым пучком и в вязаном

жилете, и она знала фонд наизусть — не как список, а как людей. Могла сказать: «У нас есть Бондарев, но плохой, его никто не берёт», — и это была правда.

Она же научила Нину топить.

— Два полена, — говорила она. — Не три. Печка не любит жадных.

Нина тогда засмеялась и сказала, что это смешно.

— А ты запомни, — сказала Мария Семёновна. — Когда-нибудь расскажешь кому-нибудь, и он тоже засмеётся.

Она умерла в марте, в райцентре, в больнице. Нина ездила два раза, второй раз уже прощаться, и Мария Семёновна тогда сказала ей:

— Ты не библиотеку держи. Ты людей держи. Библиотека и без тебя простоит.

Это была та же мысль, что у Сан Саныча про фонд, только сказанная на семнадцать лет раньше и другими словами; Нина потом думала, что, значит, это не мысль, а просто то, что знают люди, которые здесь работают.

Печь в её последнюю зиму топили плохо — то дрова сырые, то завхоз забыл. В зале стояло плюс шестнадцать, читатели сидели в пальто, и одна женщина сказала: «У вас тут как в библиотеке». Все засмеялись, потому что это было смешно и потому что это было правдой.

Домой она шла в девятом часу.

Посёлок в это время уже гасил окна: горел магазин, горел фонарь у поворота, и в одном из домов, за палисадом с су-

хими георгинами, светилось окно — ровно одно, кухонное.
Нина оста

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.